ЖИВОТНЫЕ

ЧИТАЕМ САМИ

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СБОРНИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1-4 КЛАСС

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Главные герои этой небольшой книжки – звери и птицы, как они изображены в стихах и прозе русских поэтов и писателей XVIII–XX веков. Читатель окажется в прекрасном и вместе с тем драматичном мире нашей природы, узнает много нового, поучительного о взаимоотношениях между людьми и зверями. Читая стихи и прозу из этой книги, ребенок сможет хорошо подготовиться к урокам чтения и литературы и познакомиться с произведениями, которые не включены в традиционные хрестоматии и учебники.

- Составитель С. Ф. Дмитренко
  - Родителям, учителям и любознательным школьникам
  - Михаил Ломоносов
  - Гавриил Державин
  - Семён Раич
  - Нестор Кукольник
  - Афанасий Фет
  - Николай Некрасов
  - Лев Мей
  - Дмитрий Шестаков
  - Иван Бунин
  - Николай Лесков
    - Зверь
  - Саша Чёрный
    - Из «дневника Фокса Микки»

Составитель С. Ф. Дмитренко
Животные. Произведения русских писателей о животных

Родителям, учителям и любознательным школьникам

Эта книга не заменяет, а существенно дополняет традиционные хрестоматии и сборники по литературному чтению. Поэтому вы не найдёте здесь многих знаменитых произведений, постоянно перепечатывающихся и включённых в названные книги. К счастью, русская литература неисчерпаемо богата и расширять свой круг чтения можно бесконечно, было бы увлечение. Главные герои этой небольшой книжки – звери и птицы, как они изображены в стихах и прозе русских поэтов и писателей XVIII–XX веков. Вы окажетесь в прекрасном и вместе с тем драматичном мире нашей природы, узнаете много нового, поучительного о взаимоотношениях между людьми и зверями, птицами, даже насекомыми – стихотворение о кузнечике, написанное гением нашей культуры и науки Михаилом Васильевичем Ломоносовым (1711–1765) открывает эту книгу. Грустные мысли о тяжёлой борьбе с чиновниками, мешающими развитию науки, Ломоносов преодолел, написав эти прекрасные, бессмертные десять строк.

В книге немало стихотворений и прозаических миниатюр другого гения русской литературы, лауреата Пушкинских премий и Нобелевской премии Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953). Они учат читателей зоркости взгляда на окружающий нас мир и вместе с тем вызывают чувство восторга и счастья от переживания земной красоты.

В эпоху всеобщего распространения Интернета и лёгкости получения посредством его любой справки и пояснения мы решили обойтись без систематических комментариев к текстам и

подробных биографических справок о писателях. Кому-то из читателей они могут понадобиться, кому-то – нет, но во всяком случае каждый школьник получает прекрасную возможность убедиться, что самостоятельный поиск толкований непонятных слов и выражений в Интернете не менее увлекателен, чем знаменитые «стрелялки» и тому подобные аттракционы.

Также хочется надеяться, что чтение книг нашей серии вызовет у школьников желание прочитать и другие произведения прекрасных русских писателей, тем более что некоторые печатаемые здесь произведения мы по понятным причинам вынуждены давать в сокращении.

Доброго вам чтения!

Михаил Ломоносов

Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф, когда я в 1761 году ехал просить о подписании привилегии для Академии, быв много раз прежде за тем же

Кузнечик дорогой, коль много ты блажен,
Коль больше пред людьми ты счастьем одарен!
Препровождаешь жизнь меж мягкою травою
И наслаждаешься медвяною росою.
Хотя у многих ты в глазах презренна тварь,
Но в самой истине ты перед нами царь;
Ты ангел во плоти, иль, лучше, ты бесплотен!
Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен,
Что видишь, всё твое; везде в своем дому,
Не просишь ни о чём, не должен никому.

Лето 1761

Гавриил Державин

Ласточка

О домовитая ласточка!
О милосизая птичка!
Грудь краснобела, касаточка,
Летняя гостья, певичка!
Ты часто по кровлям щебечешь,
Над гнёздышком сидя, поёшь,
Крылышками движешь, трепещешь,
Колокольчиком в горлышке бьёшь.
Ты часто по воздуху вьёшься,
В нём смелые кру ги даёшь;
Иль стелешься долу, несёшься,
Иль в небе простряся плывёшь.
Ты часто во зеркале водном
Под рдяной играешь зарёй,
На зыбком лазуре бездонном
Тенью мелькаешь твоей.
Ты часто, как молния, реешь
Мгновенно туды и сюды;
Сама за собой не успеешь
Невидимы видеть следы,
Но видишь там всю ты вселенну,
Как будто с высот на ковре:
Там башню, как жар позлащенну,
В чешуйчатом флот там сребре;
Там рощи в одежде зелёной,
Там нивы в венце золотом,
Там холм, синий лес отдалённый,
Там мошки толкутся столпом;
Там гнутся с утёса в понт воды,
Там ластятся струи к брегам.
Всю прелесть ты видишь природы,
Зришь лета роскошного храм,
Но видишь и бури ты черны
И осени скучной приход;
И прячешься в бездны подземны,
Хладея зимою, как лёд.
Во мраке лежишь бездыханна, —
Но только лишь при дёт весна

И роза вздохнет лишь румяна,
Встаёшь ты от смертного сна;
Встанешь, откроешь зеницы
И новый луч жизни ты пьёшь;
Сизы расправя косицы,
Ты новое солнце поёшь.
Душа моя! гостья ты мира:
Не ты ли перната сия? —
Воспой же бессмертие, лира!
Восстану, восстану и я, —
Восстану, – и в бездне эфира
Увижу ль тебя я, Пленира?

1792, середина 1794

Семён Раич

Жаворонок

Светит солнце, воздух тонок,
Разыгралася весна,
Вьётся в небе жаворо нок —
Грудь восторгами полна!

Житель мира – мира чуждый,
Затерявшийся вдали, —
Он забыл, ему нет ну жды,
Что творится на земли.

Он как будто и не знает,
Что не век цвести весне,
И беспечно распевает
В поднебесной стороне…

Нет весны, не стало лета…
Что ж? Из грустной стороны
Он в другие страны света
Полетел искать весны.

И опять под твердью чистой,
На свободе, без забот,
Жаворонок голосистый
Песни радости поёт.

Не поэта ль дух высокий,
Разорвавший с миром связь,
В край небес спешит далёкий,
В жаворонке возродясь?

Жаворонок беззаботный,
Как поэт, всегда поёт
И с земли, как дух бесплотный,
К небу правит свой полёт.

1838

Нестор Кукольник

Жаворонок

Между небом и землёй
Песня раздаётся,
Неисходною струей
Громче, громче льётся.
Не видать певца полей,
Где поёт так громко
Над подружкою своей
Жаворонок звонкой.

Ветер песенку несёт,
А кому – не знает.
Та, к кому она, поймёт,
От кого – узнает.

Лейся ж, песенка моя,
Песнь надежды сладкой…
Кто-то вспомнит про меня
И вздохнёт украдкой.

11 июля 1840

Афанасий Фет

Мотылёк мальчику

Цветы кивают мне, головки наклоня,
И манит куст душистой веткой;
Зачем же ты один преследуешь меня
Своею шёлковою сеткой?

Дитя кудрявое, любимый нежно сын
Неувядающего мая,
Позволь мне жизнию упиться день один,
На солнце радостном играя.

Постой, оно уйдёт, и блеск его лучей
Замрёт на западе далёком,
И в час таинственный я упаду в ручей,
И унесёт меня потоком.

1860

Николай Некрасов

Соловьи

Качая младшего сынка,
Крестьянка старшим говорила:
«Играйте, детушки, пока!
Я сарафан почти дошила;

Сейчас бурёнку обряжу,
Коня навяжем травку кушать,
И вас в ту рощицу свожу —
Пойдём соловушек послушать.

Там их, что в кузове груздей, —
Да не мешай же мне, проказник! —
У нас нет места веселей;
Весною, дети, каждый праздник

По вечерам туда идут
И стар и молод. На поляне
Девицы красные поют,
Гуторят пьяные крестьяне.

А в роще, милые мои,
Под разговор и смех народа
Поют и свищут соловьи
Звончей и слаще хоровода!

И хорошо и любо всем…
Да только (Клим, не трогай Сашу!)
Чуть-чуть соловушки совсем
Не разлюбили рощу нашу:

Ведь наш-то курский соловей
В цене, – тут много их ловили,
Ну, испугалися сетей,
Да мимо нас и прокатили!

Пришла, рассказывал ваш дед,
Весна, а роща как немая
Стоит – гостей залётных нет!

Взяла крестьян тоска большая.

Уж вот и праздник наступил
И на поляне погуляли,
Да праздник им не в праздник был!
Крестьяне бороды чесали.

И положили меж собой —
Умел же бог на ум наставить —
На той поляне, в роще той
Сетей, силков вовек не ставить.

И понемногу соловьи
Опять привыкли к роще нашей,
И нынче, милые мои,
Им места нет любей и краше!

Туда с сетями сколько лет
Никто и близко не подходит,
И строго-настрого запрет
От деда к внуку переходит.

Зато весной весь лес гремит!
Что день, то новый хор прибудет…
Под песни их деревня спит,
Их песня нас поутру будит…

Запомнить надобно и вам:
Избави бог тут ставить сети!
Ведь надо ж бедным соловьям
Дать где-нибудь и отдых, дети…»

Середний сын кота дразнил,
Меньшой полз матери на шею,
А старший с важностью спросил,
Кубарь пуская перед нею:

«А есть ли, мама, для людей
Такие рощицы на свете?»
– «Нет, мест таких… без податей
И без рекрутчины нет, дети.

А если б были для людей
Такие рощи и полянки,

Все на руках своих детей
Туда бы отнесли крестьянки…»

<1870>

Лев Мей

Малиновке

Посвящается Варваре Александровне Мей

Да! Ты клетки ненавидишь,
Ты с тоской глядишь в окно;
Воли просишь… только, видишь,
Право, рано: холодно!
Пережди снега и вьюгу:
Вот олиственятся леса,
Вот рассыплется по лугу
Влажным бисером роса,
Клетку я тогда открою
Ранним – рано поутру —
И порхай, Господь с тобою,
В крупноягодном бору.
Птичке весело на поле
И в лесу, да веселей
Жить на воле, петь на воле
С красных зорек до ночей…
Не тужи: весною веет;
Пахнет в воздухе гнездом;
Алый гребень так и рдеет
Над крикливым петухом;
Уж летят твои сестрицы
К нам из-за моря сюда:
Жди же, жди весны-царицы,
Тёплой ночи и гнезда.
Я пущу тебя на волю;
Но, послушай, заведешь
Ты мне песенку, что полю
И тёмным лесам поёшь?
Знаешь, ту, что полюбили
Волны, звёзды и цветы,
А задумали-сложили
Ночи вешние да ты.

1857

Дмитрий Шестаков

Петух

Когда ещё недвижны воды
И даль морозная глуха,
Мне веет радостью свободы
Весёлый голос петуха.

Легко пронзая мглу ночную
Призывом звонким и простым,
Он шлёт улыбку золотую
Мечтам рассеянным моим.

Он бодро требует ответа
Своей трубе, и слышен в ней
Мне праздник зелени и света
В родном саду, в тени ветвей, —

Где по дорожкам солнце бродит,
Где речка сонная тиха
И по заре свежей доходит
Весёлый голос петуха.

<1900>

Иван Бунин

Змея

Покуда март гудит в лесу по голым
Снастям ветвей, – бесцветна и плоска,
Я сплю в дупле. Я сплю в листве тяжёлым,
Холодным сном – и жду: весна близка.
Уж в облаках, как синие оконца,
Сквозит лазурь… Подсохло у корней,
И мотылёк в горячем свете солнца
Припал к листве… Я шевелюсь под ней,
Я развиваю кольца, опьяняюсь
Теплом лучей… Я медленно ползу —
И вновь цвету, горю, меняюсь,
Ряжусь то в медь, то в сталь, то в бирюзу.
Где суше лес, где много пёстрых листьев
И жёлтых мух, там пёстрый жгут – змея.
Чем жарче день, чем мухи золотистей —
Тем ядовитей я.

<1906>

Стрижи

Костёл-маяк, примета мореходу
На рёбрах гор, скалистых и нагих,
Звонит зимой, в туман и непогоду,
А нынче – штиль; закат и чист, и тих.
Одни стрижи, – как только над горою
Начнёт гранит вершины розоветь, —
Скользят в пролётах башни и порою
Чуть слышно будят медь.

<1906>

Собака

Мечтай, мечтай. Всё у же и тусклей
Ты смотришь золотистыми глазами
На вьюжный двор, на снег, прилипший к раме,
На мётлы гулких, дымных тополей.
Вздыхая, ты свернулась потеплей
У ног моих – и думаешь Мы сами
Томим себя – тоской иных полей,
Иных пустынь за пермскими горами.
Ты вспоминаешь то, что чуждо мне:
Седое небо, тундры, льды и чумы
В твоей студёной дикой стороне.
Но я всегда делю с тобою думы:
Я человек: как бог, я обречен
Познать тоску всех стран и всех времён.

<1909>

Светляк

Леса, пески, сухой и тёплый воздух,
Напев сверчков, таинственно простой.
Над головою – небо в бледных звёздах,
Под хвоей – сумрак, мягкий и густой.

Вот и она, забытая, глухая,
Часовенка в бору: издалека
Мерцает в ней, всю ночь не потухая,
Зелёная лампадка светляка.

Когда-то озаряла нам дорогу

Другая в этой сумрачной глуши…
Но чья святей? Равно угоден Богу
Свет и во тьме немеркнущей души.

Под Себежем,
24. VIII.12

Вечерний жук

На лиловом небе
Жёлтая луна.
Путается в хлебе
Мрачная струна:

Шорох жесткокрылый —
И дремотный жук
Потянул унылый,
Но спокойный звук.

Я на миг забылся,
Оглянулся – свет
Лунный воцарился,
Вечера уж нет:

Лишь луна да небо
Да бледнее льна
Зреющего хлеба
Мёртвая страна.

30. VI.16

Последний шмель

Чёрный бархатный шмель, золотое оплечье,
Заунывно гудящий певучей струной,
Ты зачем залетаешь в жильё человечье
И как будто тоскуешь со мной?

За окном свет и зной, подоконники ярки,
Безмятежны и жарки последние дни,
Полетай, погуди – и в засохшей татарке,

На подушечке красной, усни.

Не дано тебе знать человеческой думы,
Что давно опустели поля,
Что уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый
Золотого сухого шмеля!

26. VII.16

Николай Лесков

Зверь
Святочный рассказ

«И звери внимаху святое слово»

Житие старца Серафима

Глава первая

Отец мой был известный в своё время следователь. Ему поручали много важных дел, и потому он часто отлучался от семейства, а дома оставались мать, я и прислуга.

Матушка моя тогда была ещё очень молода, а я – маленький мальчик.

При том случае, о котором я теперь хочу рассказать, – мне было всего только пять лет.

Была зима, и очень жестокая. Стояли такие холода, что в хлевах замерзали ночами овцы, а воробьи и галки падали на мёрзлую землю окоченелые. Отец мой находился об эту пору по служебным обязанностям в Ельце и не обещал приехать домой даже к Рождеству Христову, а потому матушка собралась сама к нему съездить, чтобы не оставить его одиноким в этот прекрасный и радостный праздник. Меня, по случаю ужасных холодов, мать не взяла с собою в дальнюю дорогу, а оставила у своей сестры, а моей тётки, которая была замужем за одним орловским помещиком, про которого ходила невеселая слава. Он был очень богат, стар и жесток. В характере у него преобладали злобность и неумолимость, и он об этом нимало не сожалел, а, напротив, даже щеголял этими качествами, которые, по его мнению, служили будто бы выражением мужественной силы и непреклонной твердости духа.

Такое же мужество и твердость он стремился развить в своих детях, из которых один сын был мне ровесник.

Дядю боялись все, а я всех более, потому что он и во мне хотел «развить мужество», и один раз, когда мне было три года и случилась ужасная гроза, которой я боялся, он выставил меня одного на балкон и запер дверь, чтобы таким уроком отучить меня от страха во время грозы.

Понятно, что я в доме такого хозяина гостил неохотно и с немалым страхом, но мне, повторяю, тогда было пять лет, и мои желания не принимались в расчёт при соображении

обстоятельств, которым приходилось подчиняться.

Глава вторая

В имении дяди был огромный каменный дом, похожий на замок. Это было претенциозное, но некрасивое и даже уродливое двухэтажное здание с круглым куполом и с башнею, о которой рассказывали страшные ужасы. Там когда-то жил сумасшедший отец нынешнего помещика, потом в его комнатах учредили аптеку. Это также почему-то считалось страшным; но всего ужаснее было то, что наверху этой башни, в пустом, изогнутом окне были натянуты струны, то есть была устроена так называемая «Эолова арфа». Когда ветер пробегал по струнам этого своевольного инструмента, струны эти издавали сколько неожиданные, столько же часто странные звуки, переходившие от тихого густого рокота в беспокойные нестройные стоны и неистовый гул, как будто сквозь них пролетал целый сонм, пораженный страхом, гонимых духов. В доме все не любили эту арфу и думали, что она говорит что-то такое здешнему грозному господину и он не смеет ей возражать, но оттого становится еще немилосерднее и жесточе… Было несомненно примечено, что если ночью срывается буря и арфа на башне гудит так, что звуки долетают через пруды и парки в деревню, то барин в ту ночь не спит и наутро встаёт мрачный и суровый и отдаёт какое-нибудь жестокое приказание, приводившее в трепет сердца всех его многочисленных рабов.

В обычаях дома было, что там никогда и никому никакая вина не прощалась. Это было правило, которое никогда не изменялось, не только для человека, но даже и для зверя или какого-нибудь мелкого животного. Дядя не хотел знать милосердия и не любил его, ибо почитал его за слабость. Неуклонная строгость казалась ему выше всякого снисхождения. Оттого в доме и во всех обширных деревнях, принадлежащих этому богатому помещику, всегда царила безотрадная унылость, которую с людьми разделяли и звери.

Глава третья

Покойный дядя был страстный любитель псовой охоты. Он ездил с борзыми и травил волков, зайцев и лисиц. Кроме того, в его охоте были особенные собаки, которые брали медведей. Этих собак называли «пьявками». Они впивались в зверя так, что их

нельзя было от него оторвать. Случалось, что медведь, в которого впивалась зубами пьявка, убивал её ударом своей ужасной лапы или разрывал её пополам, но никогда не бывало, чтобы пьявка отпала от зверя живая.

Теперь, когда на медведей охотятся только облавами или с рогатиной, порода собак-пьявок, кажется, совсем уже перевелась в России; но в то время, о котором я рассказываю, они были почти при всякой хорошо собранной, большой охоте. Медведей в нашей местности тогда тоже было очень много, и охота за ними составляла большое удовольствие.

Когда случалось овладевать целым медвежьим гнездом, то из берлоги брали и привозили маленьких медвежат. Их обыкновенно держали в большом каменном сарае с маленькими окнами, проделанными под самой крышей. Окна эти были без стёкол, с одними толстыми, железными решётками. Медвежата, бывало, до них вскарабкивались друг по дружке и висели, держась за железо своими цепкими, когтистыми лапами. Только таким образом они и могли выглядывать из своего заключения на вольный свет Божий.

Когда нас выводили гулять перед обедом, мы больше всего любили ходить к этому сараю и смотреть на выставлявшиеся из-за решеток смешные мордочки медвежат. Немецкий гувернер Кольберг умел подавать им на конце палки кусочки хлеба, которые мы припасали для этой цели за своим завтраком.

За медведями смотрел и кормил их молодой доезжачий, по имени Ферапонт; но, как это имя было трудно для простонародного выговора, то его произносили «Храпон», или еще чаще «Храпошка». Я его очень хорошо помню: Храпошка был среднего роста, очень ловкий, сильный и смелый парень лет двадцати пяти. Храпон считался красавцем – он был бел, румян, с чёрными кудрями и с чёрными же большими глазами навыкате. К тому же он был необычайно смел. У него была сестра Аннушка, которая состояла в поднянях, и она рассказывала нам презанимательные вещи про смелость своего удалого брата и про его необыкновенную дружбу с медведями, с которыми он зимою и летом спал вместе в их сарае, так что они окружали его со всех сторон и клали на него свои головы, как на подушку.

Перед домом дяди, за широким круглым цветником, окружённым расписною решёткою, были широкие ворота, а против ворот посреди куртины было вкопано высокое, прямое, гладко выглаженное дерево, которое называли «мачта». На вершине этой мачты был прилажен маленький помостик, или, как его называли, «беседочка».

Из числа пленных медвежат всегда отбирали одного

«умного», который представлялся наиболее смышлёным и благонадёжным по характеру. Такого отделяли от прочих собратий, и он жил на воле, то есть ему дозволялось ходить по двору и по парку, но главным образом он должен был содержать караульный пост у столба перед воротами. Тут он и проводил большую часть своего времени, или лёжа на соломе у самой мачты, или же взбирался по ней вверх до «беседки» и здесь сидел или тоже спал, чтобы к нему не приставали ни докучные люди, ни собаки.

Жить такою привольною жизнью могли не все медведи, а только некоторые, особенно умные и кроткие, и то не во всю их жизнь, а пока они не начинали обнаруживать своих зверских, неудобных в общежитии наклонностей, то есть пока они вели себя смирно и не трогали ни кур, ни гусей, ни телят, ни человека.

Медведь, который нарушал спокойствие жителей, немедленно же был осуждаем на смерть, и от этого приговора его ничто не могло избавить.

Глава четвёртая

Отбирать «смышлёного медведя» должен был Храпон. Так как он больше всех обращался с медвежатами и почитался большим знатоком их натуры, то понятно, что он один и мог это сделать. Храпон же и отвечал за то, если сделает неудачный выбор, – но он с первого же раза выбрал для этой роли удивительно способного и умного медведя, которому было дано необыкновенное имя: медведей в России вообще зовут «мишками», а этот носил испанскую кличку «Сганарель». Он уже пять лет прожил на свободе и не сделал еще ни одной «шалости». Когда о медведе говорили, что «он шалит», это значило, что он уже обнаружил свою зверскую натуру каким-нибудь нападением.

Тогда «шалуна» сажали на некоторое время в «яму», которая была устроена на широкой поляне между гумном и лесом, а через некоторое время его выпускали (он сам вылезал по бревну) на поляну и тут его травили «молодыми пьявками» (то есть подрослыми щенками медвежьих собак). Если же щенки не умели его взять и была опасность, что зверь уйдёт в лес, то тогда стоявшие в запасном «секрете» два лучших охотника бросались на него с отборными опытными сворами, и тут делу наставал конец.

Если же эти собаки были так неловки, что медведь мог прорваться «к острову» (то есть к лесу), который соединялся с обширным брянским полесьем, то выдвигался особый стрелок, с длинным и тяжёлым кухенрейтеровским штуцером, и, прицелясь

«с сошки», посылал медведю смертельную пулю.

Чтобы медведь когда-либо ушёл от всех этих опасностей, такого случая еще никогда не было, да страшно было и подумать, если бы это могло случиться: тогда всех в том виноватых ждали бы смертоносные наказания.

Глава пятая

Ум и солидность Сганареля сделали то, что описанной потехи, или медвежьей казни, не было уже целые пять лет. В это время Сганарель успел вырасти и сделался большим, матерым медведем, необыкновенной силы, красоты и ловкости. Он отличался круглою, короткою мордою и довольно стройным сложением, благодаря которому напоминал более колоссального грифона или пуделя, чем медведя. Зад у него был суховат и покрыт невысокою лоснящеюся шерстью, но плечи и загорбок были сильно развиты и покрыты длинною и мохнатою растительностью. Умён Сганарель был тоже как пудель и знал некоторые замечательные для зверя его породы приёмы: он, например, отлично и легко ходил на двух задних лапах, подвигаясь вперед передом и задом, умел бить в барабан, маршировал с большою палкою, раскрашенною в виде ружья, а также охотно и даже с большим удовольствием таскал с мужиками самые тяжёлые кули на мельницу и с своеобразным шиком пресмешно надевал себе на голову высокую мужичью островерхую шляпу с павлиным пером или с соломенным пучком вроде султана.

Но пришла роковая пора – звериная натура взяла свое и над Сганарелем. Незадолго перед моим прибытием в дом дяди тихий Сганарель вдруг провинился сразу несколькими винами, из которых притом одна была другой тяжче.

Программа преступных действий у Сганареля была та же самая, как и у всех прочих: для первоученки он взял и оторвал крыло гусю; потом положил лапу на спину бежавшему за маткою жеребёнку и переломил ему спину; а наконец: ему не понравились слепой старик и его поводырь, и Сганарель принялся катать их по снегу, причём пооттоптал им руки и ноги.

Слепца с его поводырём взяли в больницу, а Сганареля велели Храпону отвести и посадить в яму, откуда был только один выход – на казнь…

Анна, раздевая вечером меня и такого же маленького в то время моего двоюродного брата, рассказала нам, что при отводе Сганареля в яму, в которой он должен был ожидать смертной

казни, произошли очень большие трогательности. Храпон не продергивал в губу Сганареля «больнички», или кольца, и не употреблял против него ни малейшего насилия, а только сказал:

– Пойдём, зверь, со мною.

Медведь встал и пошёл, да ещё что было смешно – взял свою шляпу с соломенным султаном и всю дорогу до ямы шёл с Храпоном обнявшись, точно два друга.

Они таки и были друзьями.

Глава шестая

Храпону было очень жаль Сганареля, но он ему ничем пособить не мог. Напоминаю, что там, где это происходило, никому никогда никакая провинность не прощалась, и скомпрометировавший себя Сганарель непременно должен был заплатить за свои увлечения лютой смертью.

Травля его назначалась как послеобеденное развлечение для гостей, которые обыкновенно съезжались к дяде на Рождество. Приказ об этом был уже отдан на охоте в то же самое время, когда Храпону было велено отвести виновного Сганареля и посадить его в яму.

Глава седьмая

В яму медведей сажали довольно просто. Люк, или творило ямы, обыкновенно закрывали легким хворостом, накиданным на хрупкие жерди, и посыпали эту покрышку снегом. Это было маскировано так, что медведь не мог заметить устроенной ему предательской ловушки. Покорного зверя подводили к этому месту и заставляли идти вперед. Он делал шаг или два и неожиданно проваливался в глубокую яму, из которой не было никакой возможности выйти. Медведь сидел здесь до тех пор, пока наступало время его травить. Тогда в яму опускали в наклонном положении длинное, аршин семи, бревно, и медведь вылезал по этому бревну наружу. Затем начиналась травля. Если же случалось, что сметливый зверь, предчувствуя беду, не хотел выходить, то его понуждали выходить, беспокоя длинными шестами, на конце которых были острые железные наконечники, бросали зажженную солому или стреляли в него холостыми зарядами из ружей и пистолетов.

Храпон отвёл Сганареля и заключил его под арест по этому же самому способу, но сам вернулся домой очень расстроенный и

опечаленный. На свое несчастие, он рассказал своей сестре, как зверь шёл с ним «ласково» и как он, провалившись сквозь хворост в яму, сел там на днище и, сложив передние лапы, как руки, застонал, точно заплакал.

Храпон открыл Анне, что он бежал от этой ямы бегом, чтобы не слыхать жалостных стонов Сганареля, потому что стоны эти были мучительны и невыносимы для его сердца.

– Слава Богу, – добавил он, – что не мне, а другим людям велено в него стрелять, если он уходить станет. А если бы мне то было приказано, то я лучше бы сам всякие муки принял, но в него ни за что бы не выстрелил.

Глава восьмая

Анна рассказала это нам, а мы рассказали гувернеру Кольбергу, а Кольберг, желая чем-нибудь позанять дядю, передал ему. Тот это выслушал и сказал: «Молодец Храпошка», а потом хлопнул три раза в ладоши.

Это значило, что дядя требует к себе своего камердинера Устина Петровича, старичка из пленных французов двенадцатого года.

Устин Петрович, иначе Жюстин, явился в своем чистеньком лиловом фрачке с серебряными пуговицами, и дядя отдал ему приказание, чтобы к завтрашней «садке», или охоте на Сганареля, стрелками в секретах были посажены Флегонт – известнейший стрелок, который всегда бил без промаха, а другой Храпошка. Дядя, очевидно, хотел позабавиться над затруднительною борьбою чувств бедного парня. Если же он не выстрелит в Сганареля или нарочно промахнётся, то ему, конечно, тяжело достанется, а Сганареля убьёт вторым выстрелом Флегонт, который никогда не дает промаха.

Устин поклонился и ушел передавать приказание, а мы, дети, сообразили, что мы наделали беды и что во всём этом есть что-то ужасно тяжёлое, так что Бог знает, как это и кончится. После этого нас не занимали по достоинству ни вкусный рождественский ужин, который справлялся «при звезде», за один раз с обедом, ни приехавшие на ночь гости, из коих с некоторыми были и дети.

Нам было жаль Сганареля, жаль и Ферапонта, и мы даже не могли себе решить, кого из них двух мы больше жалеем.

Оба мы, то есть я и мой ровесник – двоюродный брат, долго ворочались в своих кроватках. Оба мы заснули поздно, спали дурно и вскрикивали, потому что нам обоим представлялся

медведь. А когда няня нас успокоивала, что медведя бояться уже нечего, потому что он теперь сидит в яме, а завтра его убьют, то мною овладевала ещё большая тревога.

Я даже просил у няни взразумления: нельзя ли мне помолиться за Сганареля? Но такой вопрос был выше религиозных соображений старушки, и она, позёвывая и крестя рот рукою, отвечала, что наверно она об этом ничего не знает, так как ни разу о том у священника не спрашивала, но что, однако, медведь – тоже Божие создание, и он плавал с Ноем в ковчеге.

Мне показалось, что напоминание о плаванье в ковчеге вело как будто к тому, что беспредельное милосердие Божие может быть распространено не на одних людей, а также и на прочие Божьи создания, и я с детскою верою стал в моей кроватке на колени и, припав лицом к подушке, просил величие Божие не оскорбиться моею жаркою просьбою и пощадить Сганареля.

Глава девятая

Наступил день Рождества. Все мы были одеты в праздничном и вышли с гувернерами и боннами к чаю. В зале, кроме множества родных и гостей, стояло духовенство: священник, дьякон и два дьячка.

Когда вошёл дядя, причт запел «Христос рождается». Потом был чай, потом вскоре же маленький завтрак и в два часа ранний праздничный обед. Тотчас же после обеда назначено было отправляться травить Сганареля. Медлить было нельзя, потому что в эту пору рано темнеет, а в темноте травля невозможна и медведь легко может скрыться из вида.

Исполнилось всё так, как было назначено. Нас прямо из-за стола повели одевать, чтобы везти на травлю Сганареля. Надели наши заячьи шубки и лохматые, с круглыми подошвами, сапоги, вязанные из козьей шерсти, и повели усаживать в сани. А у подъездов с той и с другой стороны дома уже стояло множество длинных больших троечных саней, покрытых узорчатыми коврами, и тут же два стременных держали под уздцы дядину верховую английскую рыжую лошадь, по имени Щеголиха.

Дядя вышел в лисьем архалуке и в лисьей остроконечной шапке, и, как только он сел на седло, покрытое чёрною медвежьею шкурою с пахвами и паперсями, убранными бирюзой и «змеиными головками», весь наш огромный поезд тронулся, а через десять или пятнадцать минут мы уже приехали на место травли и выстроились полукругом. Все сани были расположены полуоборотом к обширному, ровному, покрытому снегом полю,

которое было окружено цепью верховых охотников и вдали замыкалось лесом.

У самого леса были сделаны секреты или тайники за кустами, и там должны были находиться Флегонт и Храпошка.

Тайников этих не было видно, и некоторые указывали только на едва заметные «сошки», с которых один из стрелков должен был прицелиться и выстрелить в Сганареля.

Яма, где сидел медведь, тоже была незаметна, и мы поневоле рассматривали красивых вершников, у которых за плечом было разнообразное, но красивое вооружение: были шведские «Штрабусы», немецкие «Моргенраты», английские «Мортимеры» и варшавские «Колеты».

Дядя стоял верхом впереди цепи. Ему подали в руки свору от двух сомкнутых злейших «пьявок», а перед ним положили у орчака на вальтрап белый платок.

Молодые собаки, для практики которых осуждён был умереть провинившийся Сганарель, были в огромном числе и все вели себя крайне самонадеянно, обнаруживая пылкое нетерпение и недостаток выдержки. Они визжали, лаяли, прыгали и путались на сворах вокруг коней, на которых сидели одетые в форменное платье доезжачие, а те беспрестанно хлопали арапниками, чтобы привести молодых, не помнивших себя от нетерпения псов к повиновению. Всё это кипело желанием броситься на зверя, близкое присутствие которого собаки, конечно, открыли своим острым природным чутьем.

Настало время вынуть Сганареля из ямы и пустить его на растерзание!

Дядя махнул положенным на его вальтрап белым платком и сказал: «Делай!»

Глава десятая

Из кучки охотников, составлявших главный штаб дяди, выделилось человек десять и пошли вперёд через поле.

Отойдя шагов двести, они остановились и начали поднимать из снега длинное, не очень толстое бревно, которое до сей поры нам издалека нельзя было видеть.

Это происходило как раз у самой ямы, где сидел Сганарель, но она тоже с нашей далёкой позиции была незаметна.

Дерево подняли и сейчас же спустили одним концом в яму. Оно было спущено с таким пологим уклоном, что зверь без затруднения мог выйти по нём, как по лестнице.

Другой конец бревна опирался на край ямы и торчал из неё

на аршин.

Все глаза были устремлены на эту предварительную операцию, которая приближала к самому любопытному моменту. Ожидали, что Сганарель сейчас же должен был показаться наружу; но он, очевидно, понимал в чём дело и ни за что не шёл.

Началось гонянье его в яме снежными комьями и шестами с острыми наконечниками, послышался рёв, но зверь не шёл из ямы. Раздалось несколько холостых выстрелов, направленных прямо в яму, но Сганарель только сердитее зарычал, а всё-таки по-прежнему не показывался.

Тогда откуда-то из-за цепи вскачь подлетели запряженные в одну лошадь простые навозные дровни, на которых лежала куча сухой ржаной соломы.

Лошадь была высокая, худая, из тех, которых употребляли на ворке для подвоза корма с гуменника, но, несмотря на свою старость и худобу, она летела, поднявши хвост и натопорщив гриву. Трудно, однако, было определить: была ли ее теперешняя бодрость остатком прежней молодой удали, или это скорее было порождение страха и отчаяния, внушаемых старому коню близким присутствием медведя? По-видимому, последнее имело более вероятия, потому что лошадь была взнуздана, кроме железных удил, ещё острою бечёвкою, которою и были уже в кровь истерзаны её посеревшие губы. Она и неслась и металась в стороны так отчаянно, что управлявший ею конюх в одно и то же время драл ей кверху голову бечевой, а другою рукою немилосердно стегал её толстою нагайкою.

Но, как бы там ни было, солома была разделена на «три кучи, разом зажжёна и разом же с трёх сторон скинута, зажжённая, в яму. Вне пламени остался только один тот край, к которому было приставлено бревно.

Раздался оглушительный, бешеный рёв, как бы смешанный вместе со стоном, но… медведь опять-таки не показывался.

До нашей цепи долетел слух, что Сганарель весь «опалился» и что он закрыл глаза лапами и лёг вплотную в угол к земле, так что «его не стронуть».

Ворковая лошадь с разрезанными губами понеслась опять вскачь назад. Все думали, что это была посылка за новым привозом соломы. Между зрителями послышался укоризненный говор: зачем распорядители охоты не подумали ранее припасти столько соломы, чтобы она была здесь с излишком. Дядя сердился и кричал что-то такое, чего я не мог разобрать за всею поднявшеюся в это время у людей суетою и еще более усилившимся визгом собак и хлопаньем арапников.

Но во всем этом виднелось нестроение и был, однако, свой

лад, и ворковая лошадь уже опять, метаясь и храпя, неслась назад к яме, где залёг Сганарель, но не с соломою: на дровнях теперь сидел Ферапонт.

Гневное распоряжение дяди заключалось в том, чтобы Храпошку спустили в яму и чтобы он сам вывел оттуда своего друга на травлю…

Глава одиннадцатая

И вот Ферапонт был на месте. Он казался очень взволнованным, но действовал твёрдо и решительно, нимало не сопротивляясь барскому приказу, он взял с дровней верёвку, которою была прихвачена привезённая минуту тому назад солома, и привязал эту верёвку одним концом около зарубки верхней части бревна. Остальную верёвку Ферапонт взял в руки и, держась за неё, стал спускаться по бревну, на ногах, в яму.

Страшный рёв Сганареля утих и заменился глухим ворчанием.

Зверь как бы жаловался своему другу на жестокое обхождение с ним со стороны людей; но вот и это ворчание сменилось совершенной тишиной.

– Обнимает и лижет Храпошку, – крикнул один из людей, стоявших над ямой.

Из публики, размещавшейся в санях, несколько человек вздохнули, другие поморщились.

Многим становилось жалко медведя, и травля его, очевидно, не обещала им большого удовольствия. Но описанные мимолетные впечатления внезапно были прерваны новым событием, которое было ещё неожиданнее и заключало в себе новую трогательность.

Из творила ямы, как бы из преисподней, показалась курчавая голова Храпошки в охотничьей круглой шапке. Он взбирался наверх опять тем же самым способом, как и спускался, то есть Ферапонт шёл на ногах по бревну, притягивая себя к верху крепко завязанной концом наруже верёвки. Но Ферапонт выходил не один: рядом с ним, крепко с ним обнявшись и положив ему на плечо большую косматую лапу, выходил и Сганарель… Медведь был не в духе и не в авантажном виде. Пострадавший и изнурённый, по-видимому не столько от телесного страдания, сколько от тяжкого морального потрясения, он сильно напоминал короля Лира. Он сверкал исподлобья налитыми кровью и полными гнева и негодования глазами. Так же, как Лир, он был и взъерошен, и местами опалён, а местами к нему пристали

будылья соломы. Вдобавок же, как тот несчастный венценосец, Сганарель, по удивительному случаю, сберег себе и нечто вроде венца. Может быть, любя Ферапонта, а может быть, случайно, он зажал у себя под мышкой шляпу, которою Храпошка его снабдил и с которою он же поневоле столкнул Сганареля в яму. Медведь сберёг этот дружеский дар, и… теперь, когда сердце его нашло мгновенное успокоение в объятиях друга, он, как только стал на землю, сейчас же вынул из-под мышки жестоко измятую шляпу и положил её себе на макушку…

Эта выходка многих насмешила, а другим зато мучительно было её видеть. Иные даже поспешили отвернуться от зверя, которому сейчас же должна была последовать злая кончина.

Глава двенадцатая

Тем временем, как всё это происходило, псы взвыли и взметались до потери всякого повиновения. Даже арапник не оказывал на них более своего внушающего действия. Щенки и старые пьявки, увидя Сганареля, поднялись на задние лапы и, сипло воя и храпя, задыхались в своих сыромятных ошейниках; а в это же самое время Храпошка уже опять мчался на ворковом одре к своему секрету под лесом. Сганарель опять остался один и нетерпеливо дёргал лапу, за которую случайно захлестнулась брошенная Храпошкой верёвка, прикреплённая к бревну. Зверь, очевидно, хотел скорее её распутать или оборвать и догнать своего друга, но у медведя, хотя и очень смышлёного, ловкость всё-таки была медвежья, и Сганарель не распускал, а только сильнее затягивал петлю на лапе.

Видя, что дело не идёт так, как ему хотелось, Сганарель дёрнул верёвку, чтобы её оборвать, но верёвка была крепка и не оборвалась, а лишь бревно вспрыгнуло и стало стоймя в яме. Он на это оглянулся; а в то самое мгновение две пущенные из стаи со своры пьявки достигли его, и одна из них со всего налёта впилась ему острыми зубами в загорбок.

Сганарель был так занят с верёвкой, что не ожидал этого и в первое мгновение как будто не столько рассердился, сколько удивился такой наглости; но потом, через полсекунды, когда пьявка хотела перехватить зубами, чтобы впиться ещё глубже, он рванул её лапою и бросил от себя очень далеко и с разорванным брюхом. На окровавленный снег тут же выпали её внутренности, а другая собака была в то же мгновение раздавлена под его задней лапой… Но что было всего страшнее и всего неожиданнее, это то, что случилось с бревном. Когда Сганарель сделал усиленное

движение лапою, чтобы отбросить от себя впившуюся в него пьявку, он тем же самым движением вырвал из ямы крепко привязанное к веревке бревно, и оно полетело пластом в воздухе. Натянув верёвку, оно закружило вокруг Сганареля, как около своей оси, и, чертя одним концом по снегу, на первом же обороте размозжило и положило на месте не двух и не трех, а целую стаю поспевавших собак. Одни из них взвизгнули и копошились из снега лапками, а другие, как кувырнулись, так и вытянулись.

Глава тринадцатая

Зверь или был слишком понятлив, чтобы не сообразить, какое хорошее оказалось в его обладании оружие, или верёвка, охватившая его лапу, больно её резала, но он только взревел и, сразу перехватив верёвку в самую лапу, ещё так наподдал бревно, что оно поднялось и вытянулось в одну горизонтальную линию с направлением лапы, державшей верёвку, и загудело, как мог гудеть сильно пущенный колоссальный волчок. Всё, что могло попасть под него, непременно должно было сокрушиться вдребезги. Если же верёвка где-нибудь, в каком-нибудь пункте своего протяжения оказалась бы недостаточно прочною и лопнула, то разлетевшееся в центробежном направлении бревно, оторвавшись, полетело бы вдаль, Бог весть до каких далеких пределов, и на этом полёте непременно сокрушит всё живое, что оно может встретить.

Все мы, люди, все лошади и собаки, на всей линии и цепи, были в страшной опасности, и всякий, конечно, желал, чтобы для охранения его жизни верёвка, на которой вертел свою колоссальную пращу Сганарель, была крепка. Но какой, однако, всё это могло иметь конец? Этого, впрочем, не пожелал дожидаться никто, кроме нескольких охотников и двух стрелков, посаженных и секретных ямах у самого леса. Вся остальная публика, то есть все гости и семейные дяди, приехавшие на эту потеху в качестве фителей, не находили более в случившемся ни малейшей потехи. Все в перепуге велели кучерам как можно скорее скакать далее от опасного места и в страшном беспорядке, тесня и перегоняя друг друга, помчались к дому.

В спешном и беспорядочном бегстве по дороге было несколько столкновений, несколько падений, немного смеха и немало перепугов. Выпавшим из саней казалось, что бревно оторвалось от верёвки и свистит, пролетая над их головами, а за ними гонится рассвирепевший зверь.

Но гости, достигши дома, могли прийти в покой и

оправиться, а те немногие, которые остались на месте травли, видели нечто гораздо более страшное…

Глава четырнадцатая

Никаких собак нельзя было пускать на Сганареля. Ясно было, что при его страшном вооружении бревном он мог победить всё великое множество псов без малейшего для себя вреда. А медведь, вертя свое бревно и сам за ним поворачиваясь, прямо подавался к лесу, и смерть его ожидала только здесь, у секрета, в котором сидели Ферапонт и без промаха стрелявший Флегонт.

Меткая пуля все могла кончить смело и верно.

Но рок удивительно покровительствовал Сганарелю и, раз вмешавшись в дело зверя, как будто хотел спасти его во что бы то ни стало.

В ту самую минуту, когда Сганарель сравнялся с привалами, из-за которых торчали на сошках наведённые на него дула кухенрейтеровских штуцеров Храпошки и Флегонта, веревка, на которой летало бревно, неожиданно лопнула и… как пущенная из лука стрела, стрекнуло в одну сторону, а медведь, потеряв равновесие, упал и покатился кубарем в другую.

Перед оставшимися на поле вдруг сформировалась новая живая и страшная картина: бревно сшибло сошки и весь замет, за которым скрывался в секрете Флегонт, а потом, перескочив через него, оно ткнулось и закопалось другим концом в дальнем сугробе; Сганарель тоже не терял времени. Перекувырнувшись три или четыре раза, он прямо попал за снежный валик Храпошки.

Сганарель его моментально узнал, дохнул на него своей горячей пастью, хотел лизнуть языком, но вдруг с другой стороны, от Флегонта, крякнул выстрел, и. медведь убежал в лес, а Храпошка… упал без чувств.

Его подняли и осмотрели: он был ранен пулею в руку навылет, но в ране его было также несколько медвежьей шерсти.

Флегонт не потерял звания первого стрелка, но он стрелял впопыхах из тяжелого штуцера и без сошек, с которых мог бы прицелиться. Притом же на дворе уже было серо, и медведь с Храпошкою были слишком тесно скручены…

При таких условиях и этот выстрел с промахом на одну линию должно было считать в своем роде замечательным.

Тем не менее – Сганарель ушёл. Погоня за ним по лесу в этот же самый вечер была невозможна; а до следующего утра в уме того, чья воля была здесь для всех законом, просияло совсем иное

настроение.

Глава пятнадцатая

Дядя вернулся после окончания описанной неудачной охоты. Он был гневен и суров более, чем обыкновенно. Перед тем как сойти у крыльца с лошади, он отдал приказ завтра чем свет искать следов зверя и обложить его так, чтобы он не мог скрыться.

Правильно поведенная охота, конечно, должна была дать совсем другие результаты.

Затем ждали распоряжения о раненом Храпошке. По мнению всех, его должно было постигнуть нечто страшное. Он по меньшей мере был виноват в той оплошности, что не всадил охотничьего ножа в грудь Сганареля, когда тот очутился с ним вместе, и оставил его нимало не поврежденным в его объятиях. Но, кроме того, были сильные и, кажется, вполне основательные подозрения, что Храпошка схитрил, что он в роковую минуту умышленно не хотел поднять своей руки на своего косматого друга и пустил его на волю.

Всем известная взаимная дружба Храпошки с Сганарелем давала этому предположению много вероятности.

Так думали не только все участвовавшие в охоте, но так же точно толковали теперь и все гости.

Прислушиваясь к разговорам взрослых, которые собрались к вечеру в большой зале, где в это время для нас зажигали богато убранную ёлку, мы разделяли и общие подозрения и общий страх пред тем, что может ждать Ферапонта.

На первый раз, однако, из передней, через которую дядя прошел с крыльца к себе «на половину», до залы достиг слух, что о Храпошке не было никакого приказания.

– К лучшему это, однако, или нет? – прошептал кто-то, и шёпот этот среди общей тяжелой унылости толкнулся в каждое сердце.

Его услыхал и отец Алексей, старый сельский священник с бронзовым крестом двенадцатого года. Старик тоже вздохнул и с таким же шёпотом сказал:

– Молитесь рождённому Христу.

С этим он сам и все, сколько здесь было взрослых и детей, бар и холопей, все мы сразу перекрестились. И тому было время. Не успели мы опустить наши руки, как широко растворились двери и вошёл, с палочкой в руке, дядя. Его сопровождали две его любимые борзые собаки и камердинер Жюстин. Последний нёс за

ним на серебряной тарелке его белый фуляр и круглую табакерку с портретом Павла Первого.

Глава шестнадцатая

Вольтеровское кресло для дяди было поставлено на небольшом персидском ковре перед елкою, посреди комнаты. Он молча сел в это кресло и молча же взял у Жюстина свой фуляр и свою табакерку. У ног его тотчас легли и вытянули свои длинные морды обе собаки.

Дядя был в синем шёлковом архалуке с вышитыми гладью застёжками, богато украшенными белыми филограневыми пряжками с крупной бирюзой. В руках у него была его тонкая, но крепкая палка из натуральной кавказской черешни.

Палочка теперь ему была очень нужна, потому что во время суматохи, происшедшей на садке, отменно выезженная Щеголиха тоже не сохранила бесстрашия – она метнулась в сторону и больно прижала к дереву ногу своего всадника. Дядя чувствовал сильную боль в этой ноге и даже немножко похрамывал.

Это новое обстоятельство, разумеется, тоже не могло прибавить ничего доброго в его раздраженное и гневливое сердце. Притом было дурно и то, что при появлении дяди мы все замолчали. Как большинство подозрительных людей, он терпеть не мог этого; и хорошо его знавший отец Алексей поторопился, как умел, поправить дело, чтобы только нарушить эту зловещую тишину.

Имея наш детский круг близ себя, священник задал нам вопрос: понимаем ли мы смысл песни «Христос рождается»? Оказалось, что не только мы, но и старшие плохо ее разумели. Священник стал нам разъяснять слова: «славите», «рящите» и «возноситеся», и, дойдя до значения этого последнего слова, сам тихо «вознесся» и умом и сердцем. Он заговорил о даре, который и нынче, как и «во время оно», всякий бедняк может поднесть к яслям «рожденного Отроча», смелее и достойнее, чем поднесли злато, смирну и ливан волхвы древности. Дар наш – наше сердце, исправленное по Его учению. Старик говорил о любви, о прощенье, о долге каждого утешить друга и недруга «во имя Христово»… И думается мне, что слово его в тот час было убедительно. Все мы понимали, к чему оно клонит, все его слушали с особенным чувством, как бы моляся, чтобы это слово достигло до цели, и у многих из нас на ресницах дрожали хорошие слёзы.

Вдруг что-то упало. Это была дядина палка. Её ему подали,

но он до неё не коснулся: он сидел, склонясь набок, с опущенною с кресла рукою, в которой, как позабытая, лежала большая бирюза от застежки. Но вот он уронил её, и. её никто не спешил поднимать.

Все глаза были устремлены на его лицо. Происходило удивительное: он плакал! Священник тихо раздвинул детей и, подойдя к дяде, молча благословил его рукою.

Тот поднял лицо, взял старика за руку и неожиданно поцеловал её перед всеми и тихо молвил:

– Спасибо.

В ту же минуту он взглянул на Жюстина и велел позвать сюда Ферапонта.

Тот предстал бледный, с подвязанной рукою.

– Стань здесь! – велел ему дядя и показал рукою на ковер. Храпошка подошёл и упал на колени.

– Встань… поднимись! – сказал дядя. – Я тебя прощаю. Храпошка опять бросился ему в ноги. Дядя заговорил нервным, взволнованным голосом:

– Ты любил зверя, как не всякий умеет любить человека. Ты меня этим тронул и превзошёл меня в великодушии. Объявляю тебе от меня милость: даю вольную и сто рублей на дорогу. Иди куда хочешь.

– Благодарю и никуда не пойду, – воскликнул Храпошка.

– Что?

– Никуда не пойду, – повторил Ферапонт.

– Чего же ты хочешь?

– За вашу милость я хочу вам вольной волей служить честней, чем за страх поневоле.

Дядя моргнул глазами, приложил к ним одною рукою свой белый фуляр, а другою, нагнувшись, обнял Ферапонта, и… все мы поняли, что нам надо встать с мест, и тоже закрыли глаза… Довольно было чувствовать, что здесь совершилась слава вышнему Богу и заблагоухал мир во имя Христово, на месте сурового страха.

Это отразилось и на деревне, куда были посланы котлы браги. Зажглись весёлые костры, и было веселье во всех, и шутя говорили друг другу:

– У нас ноне так сталось, что и зверь пошёл во святой тишине Христа славить.

Сганареля не отыскивали. Ферапонт, как ему сказано было, сделался вольным, скоро заменил при дяде Жюстина и был не только верным его слугою, но и верным его другом до самой его смерти. Он закрыл своими руками глаза дяди, и он же схоронил его в Москве на Ваганьковском кладбище, где и по сю пору цел

его памятник. Там же, в ногах у него, лежит и Ферапонт.

Цветов им теперь приносить уже некому, но в московских норах и трущобах есть люди, которые помнят белоголового длинного старика, который словно чудом умел узнавать, где есть истинное горе, и умел поспевать туда вовремя сам или посылал не с пустыми руками своего доброго пучеглазого слугу.

Эти два добряка, о которых много бы можно сказать, были – мой дядя и его Ферапонт, которого старик в шутку называл: «укротитель зверя».

1883

Саша Чёрный

Из «дневника Фокса Микки»

О Зине, о еде, о корове и т. п.

Моя хозяйка Зина больше похожа на фокса, чем на девочку: визжит, прыгает, ловит руками мяч (ртом она не умеет) и грызёт сахар, совсем как собачонка. Всё думаю – нет ли у неё хвостика? Ходит она всегда в своих девочкиных попонках; а в ванную комнату меня не пускает – уж я бы подсмотрел.

Вчера она расхвасталась: видишь, Микки, сколько у меня тетрадок. Арифметика – диктовка – сочинения… А вот ты, цуцик несчастный, ни говорить, ни читать, ни писать не умеешь.

Гав! Я умею думать – и это самое главное. Что лучше: думающий фокс или говорящий попугай? Ага!

Читать я немножко умею – детские книжки с самыми крупными буквами.

Писать. Смейтесь, смейтесь (терпеть не могу, когда люди смеются)! – писать я тоже научился. Правда, пальцы на лапах у меня не загибаются, я ведь не человек и не обезьяна. Но я беру карандаш в рот, наступаю лапой на тетрадку, чтобы она не ёрзала, – и пишу.

Сначала буквы были похожи на раздавленных дождевых червяков. Но фоксы гораздо прилежнее девочек. Теперь я пишу не хуже Зины. Вот только не умею точить карандашей. Когда мой иступится, я бегу тихонько в кабинет и тащу со стола отточенные людьми огрызочки.

* * *

Ставлю три звёздочки. Я видал в детских книжках: когда человек делает прыжок к новой мысли, он ставит три звёздочки…

Что важнее всего в жизни? Еда. Нечего притворяться! У нас полон дом людей. Они разговаривают, читают, плачут, смеются – а потом садятся есть. Едят утром, едят в полдень, едят вечером. А Зина ест даже ночью – прячет под подушку бисквиты и шоколадки и потихоньку чавкает.

Как много они едят! Как долго они едят! Как часто они едят. И говорят еще, что я обжора.

Сунут косточку от телячьей котлетки (котлетку сами съедят!), нальют полблюдца молока – и всё.

Разве я пристаю, разве я прошу ещё, как Зина и другие дети?

Разве я ем сладкое: клейстер, который называется киселём, или жидкую гадость из чернослива и изюма, или холодный ужас, который они называют мороженым? Я деликатнее всех собак, потому что я породистый фокс. Погрызу косточку, съем, осторожно взяв из рук Зины, бисквит, и всё.

Но они… Зачем эти супы? Разве не вкуснее чистая вода?

Зачем эти горошки, морковки, сельдерейки и прочие гадости, которыми они портят жаркое?

Зачем вообще варить и жарить?

Я недавно попробовал кусочек сырого мяса (упал на кухне на пол – я имел полное право его съесть!). Уверяю вас, оно было гораздо вкусней всех этих шипящих на сковородке котлет.

И как было бы хорошо, если бы не варили и не жарили! Не было бы кухарок: они совсем не умеют обращаться с порядочными собаками. Ели бы все на полу, без посуды, – мне было бы веселей. А то всегда сидишь под столом, среди чужих ног. Толкаются, наступают на лапы. Подумаешь, как весело!..

Или еще лучше – ели бы на траве перед домом. Каждому по сырой котлетке. А после обеда все бы барахтались и визжали, как Зина со мной. Гав-гав!

Меня называют обжорой (выпил глоток молока из кошкиного блюдца, подумаешь).

А сами. После супа, после жаркого, после компота, после сыра – они ещё пьют разноцветные штуки: красную – вино, желтую – пиво, черную – кофе. Зачем? Я зеваю под столом до слёз, привык около людей околачиваться, а они все сидят, сидят, сидят. Гав! И все говорят, говорят, говорят, точно у каждого граммофон в животе завели.

* * *

Три звёздочки.

Новая мысль. Наша корова – дура. Почему она даёт столько молока? У неё один сын – телёнок, а она кормит весь дом. И чтоб давать столько молока, она весь день ест, ест свою траву, даже смотреть жалко. Я бы не выдержал. Почему лошадь не дает столько молока? Почему кошка кормит своих котят и больше ни о ком не заботится?

Разве говорящему попугаю придёт в голову такая мысль?

И ещё. Почему куры несут столько яиц? Это ужасно. Никогда они не веселятся, ходят, как сонные мухи, летать совсем разучились, не поют, как другие птицы… Это всё из-за этих несчастных яиц.

Я яиц не терплю. Зина – тоже. Если бы я мог объясниться с курами, я бы им отсоветовал нести столько яиц.

Хорошо все-таки быть фоксом: не ем супа, не играю на этой проклятой музыке, по которой Зина бегает пальцами, не даю молока и «тому подобное», как говорит Зинин папа.

Трах! Карандаш надломился. Надо писать осторожнее – кабинет на замке, а там все карандаши.

В следующий раз сочиню собачьи стихи – очень это меня интересует.

Фокс Микки,
первая собака, умеющая писать

Стихи, котята и блохи

Взрослые всегда читают про себя. Скучные люди – эти взрослые, вроде старых собак. А Зина – читает вслух, нараспев и всё время вертится, хлопает себя по коленке и показывает мне язык. Конечно, так веселей. Я лежу на коврике, слушаю и ловлю блох. Очень это во время чтения приятно.

И вот я заметил, что есть такие штучки, которые Зина совсем по-особому читает – точно котлетки рубит. Сделает передышку, языком прищелкнет и опять затарахтит. А на конце каждой строчки – ухо у меня тонкое – похожие друг на друга кусочки звучат: «дети – отца, сети – мертвеца»… Вот это и есть стихи.

Вчера весь день пролежал под диваном, даже похудел. Все хотел одну такую штучку сочинить. Придумал – и ужасно горжусь.

По веранде ветер дикий
Гонит листья все быстрей.
Я весёлый фоксик Микки,
Самый умный из зверей!

Замечательно! Сочинил и так волновался, что даже не мог обедать. Подумайте! Это первые в мире собачьи стихи, а ведь я не учился ни в гимназии, ни в «цехе поэтов». Разве наша кухарка сочинит такие стихи? А ведь ей сорок три года, а мне только два. Гав! Эта кубышка Зина и не подозревает, кто у неё живет в доме… Запеленала меня в салфетку, уткнула в колени и делает мне замшевой притиралкой маникюр. Молчу и вздыхаю. Разве девочка что-нибудь путное придумает?

И вот, лёжа пробовал прочесть про себя свои стихи наоборот.

Тяв! Может быть, так еще звончей будет?..

Дикий ветер веранде по
Быстрей всё листья гонит…
Микки фоксик веселый я,
Зверей из умный самый…
Ай-яй-яй! Что же это такое?

Котята! Скажите пожалуйста!.. Их мать, хитрая тварь, исчезает в парке на весь день: шмыг – и нету, как комар в ёлке. А я должен играть с её детьми. Один лижет меня в нос. Я тоже его лизнул, хотя зубы у меня почему-то вдруг щелкнули. Другой сосёт мое ухо. Мамка я ему, что ли? Третий лезет ко мне на спину и так царапается, словно меня теркой скребут. Р-р-р-р! Тише, Микки, тише. Зина хохочет и захлёбывается: ты, говорит, их двоюродный папа.

Я не сержусь: надо же им кого-нибудь лизать, сосать и царапать. Но зачем же эта девчонка смеется?

Ах, как странно, как странно! Сегодня бессовестная кошка вернулась наконец к своим детям. И знаете, когда они бросили меня и полезли все под свою маму – я посмотрел из-под скатерти, задрожал всей шкурой от зависти и нервно всхлипнул. Непременно напишу об этом стишок.

Ушёл в аллею. Не хочу больше играть с котятами! Они не оценили моего сердца. Не хочу больше играть с Зиной! Она вымазала мне нос губной помадой…

Сделаюсь диким фоксом, буду жить на каштане и ловить голубей. У-у– у!

* * *

Видел на граммофонной пластинке нацарапанную картинку: фокс сидит перед трубой, склонил голову набок, свесил ухо и слушает. Че-пу-ха! Ни один порядочный фокс не будет слушать эту хрипящую, сумасшедшую машину. Если бы я был Зинин папа, уж я бы лучше держал в гостиной корову. Она ведь тоже мычит и ревет, да и доить её удобней дома, чем бегать к ней в сарай. Странные люди.

С Зиной помирился: она катала по паркету игрушечный кегельный шар, а я его со всех ног ловил. Ах, как я люблю все круглое, все, что катится, все, что можно ловить!..

Но девочка. всегда останется девочкой. Села на пол и зевает: «Как тебе, Микки, не надоест сто раз делать одно и то же?»

Да? У нее есть кукла, и книжки, и подруги, папа её курит, играет в какие-то дурацкие карты и читает газеты, мама её все время одевается и раздевается. А у меня только мой шар – и меня ещё попрекают!

Ненавижу блох. Не-на-ви-жу. Могли бы, кажется, кусать кухарку (Зину мне жалко), так нет – целый день грызут меня, точно я сахарный… Даже с котят все на меня перескочили. Ладно! Пойду в переднюю, лягу на шершавый коврик спиной книзу и так их разотру, что они в обморок попадают. Гав-гав-гав!

Затопили камин. Смотрю на огонь. А что такое огонь – никому не известно.

Фокс Микки, Собака-поэт, Умнее которой в мире нет.

Разные вопросы, мой сон и мои собачьи мысли

Вопросом называется такая строчка, в конце которой стоит рыболовный крючок – вопросительный знак.

Меня мучают пять вопросов. Почему Зинин папа сказал, что у него «глаза на лоб полезли»? Никуда они не полезли, я сам видел. Зачем же он говорит глупости? Я прокрался к шкафу, сел перед зеркалом и изо всех сил закатил кверху глаза. Чушь! Лоб вверху и глаза на своём месте.

Живут ли на Луне фоксы, что они едят и воют ли на Землю, как я иногда на Луну? И куда они деваются, когда лунная тарелка вдруг исчезает на много дней неизвестно куда?.. Микки, Микки, ты когда-нибудь сойдешь с ума!

Зачем рыбы лезут в пустую сетку, которая называется вершей? Раз не умеешь жить над водой, так и сиди себе тихо в пруду. Очень мне их жалко! Утром плавали и пускали пузыри, а вечером перевариваются в тёмном и тесном человеческом желудке. Да ещё гнусная кошка все кишочки по саду растаскала…

Почему Зинина бонна всё была брюнеткой, а сегодня у неё волосы как соломенный сноп? Зина хихикнула, а я испугался и подумал: хорошо, Микки, что ты собака. Женили бы тебя на такой попугайке: во вторник она чёрная, в среду – оранжевая, а в четверг – голубая с зелёными полосками. Фу! Даже температура поднялась.

Почему, когда я себя веду дурно, на меня надевают намордник, а садовник два раза в неделю напивается, буянит, как бешеный бык, – и хоть бы что?! Зинин дядя говорит, что садовник был контужен и поэтому надо к нему относиться снисходительно. Непременно узнаю, что такое «контужен», и тоже контужусь. Пусть ко мне относятся снисходительно. Пойду догрызу косточку

(я спрятал её. где?.. а вот не скажу!). Потом опять попишу.

* * *

Ах, что я видел во сне! Будто я директор собачьей гимназии. Собаки сидят по классам и учат «историю знаменитых собак», «правила хорошего собачьего поведения», «как надо есть мозговую кость» и прочие подходящие для них штуки.

Я вошёл в младший класс и сказал: «Здравствуйте, цуцики!» – Тяв, тяв, тяв, господин директор! – «Довольны вы ими, мистер Мопс?» Мистер Мопс, учитель мелодекламации, сделал реверанс и буркнул: пожаловаться не могу. Стараются. «Ну, ладно. Приказываю моим именем распустить их на полчаса».

Боже мой, что тут поднялось! Малыши бросились на меня всей ватагой. Повалили на пол… Один вылил на меня чернильницу, другой уколол меня пером в кончик хвоста – ай! Третий стал тянуть мое ухо вбок, точно я резиновый. Я завизжал, как паровоз, – и проснулся. Луна. На полу сидит таракан и подъедает брошенный Зиной бисквит. За окном хлопает ставня. Уй-юй-юй!..

Зинина комната на запоре. Я прокрался в закоулок за кухней и свернулся на коврике у кухаркиной кровати. Конечно, я её не люблю, конечно, она храпит так, что банки дребезжат на полке, конечно, она высунула из-под одеяла свою толстую ногу и шевелит во сне пальцами. Но что же делать?

Окно побелело, а я все лежал и думал: что означает мой сон? У кухарки есть затрепанная книга – «сонник». Она часто перелистывает её пухлыми пальцами и всё вычитывает по складам про какого-то жениха. Подумаешь, кто на такой сковородке женится?..

Но что мне «сонник»? Собачьих снов в нём все равно нету… А может быть, сон был мне в руку? То есть в лапу.

* * *

Мысли.

Вода замерзает зимой, а я каждое утро. Самое гнусное человеческое изобретение – ошейники, обтянутые собачьей кожей. Зачем наш сосед пашет землю и сеет хлеб, когда рядом с его усадьбой есть булочная? Когда щенок устроит совсем-совсем маленькую лужицу на полу – его тычут в неё носом; когда же то же самое сделает Зинин младший братишка, пелёнку вешают на

веревочку, а его целуют в пятку. Тыкать – так всех! Дрался с ежом, но он нечестный: спрятал голову и со всех сторон у него колючий зад. Р-р-р! Это что ж за драка?.. Ел колбасу и проглотил нечаянно колбасную веревочку. Неужели у меня будет аппендицит?!

Зина пахнет миндальным молоком, мама ее – тёплой булкой, папа – старым портфелем, а кухарка. многоточие.

Больше мыслей нету. Взы! Почему никто не догадается дать мне кусочек сахару?

Фокс Микки,
которому по-настоящему следовало бы быть профессором
1924–1927